

На сцене чемодан – старый, выдавший виды. Рядом на пластиковом стуле сидит женщина, ей лет 60–65 на вид: седые, чуть вьющиеся волосы, юбка ниже колен, кофта с большими пуговицами, простые туфли. Женщина с любопытством разглядывает зал, сложив руки на коленях.

Уф. Ну всё, наконец! Я уж думала, ни за что не доберётесь! Сейчас начнётся. Ну как: уже началось. Это ненадолго! Часик потерпеть – и всё кончится.

Удивительно, да? Сидишь в зале: и вроде всё началось, столько впереди! А так посмотреть: кончилось всё, что было. Оно есть – только идёт своей дорогой без тебя, где-то там. Как – ты и знать не знаешь.

Всего и есть – что перед тобой. И вокруг, рукой подать, слева-справа: люди, люди... Тоже ждут чего-то. А чего ждут, когда всё началось – и кончилось уже? *(Достаёт из-под кофты стеклянную фляжку, делает глоток, прячет фляжку.)*

Хорошо, что дошли. Вы мои молодцы! Сейчас-то вы, конечно, не те. Раньше и танцы, прогулки. Очереди. Стоять сложнее, чем идти. Человек вообще стоять не любит: лучше идти неизвестно куда, чем стоять. Ну или сидеть – как вы сейчас – тоже хорошо!

Интересно: когда человек сидит – ноги что делают? Тоже вроде сидят. Или стоят? (*Вытягивает ноги.*) А вот так – вообще лежат (*глядит ноги*). Вы мои молодцы! Добрались. Правая! Левая! Особенно пра... (*прислушивается*).

Что-то объявляют... Не, не посадка. Родители ждут возле стойки регистрации. Ох, матери какво! В слезах! А отец? Сам рычит на неё – «потеряла ребёнка!» – а внутри вдвойне виноват. Отцы такие (*машет рукой*). Найдётся малец, не на войне! (*Смотрит на часы.*)

Час ещё. Потом самолёт, и – встречай, Исландия! Да. Но это вряд ли Шинед-то я написала, но без ответа. (*Пауза.*)

Я своего отца не помню. Мама рассказывала: кучерявый был. Да как-то на спор с мужиками ведро воды выпил. Только это и помню. Меня, значит, родил. Ведро воды выпил. И сбежал! Куда? (*Пожимают плечами.*) До ветру, видать. Шутка: ведро выпить! Пошёл пописать – да до сих пор и... Мне год был или около того – с тех пор мама его и не видела.

Да она и раньше его не видала. Мама у меня была слепая. Она вроде как оспой болела в детстве, десять лет ей было – и стала слепнуть. Ну и – так потом всю жизнь и прожила: в темноте.

И умирала в темноте, ничего не видя. Это, я думаю, очень страшно: всю жизнь не видеть солнечный свет и умирать в полной тьме, не видеть свою дочь. Своего мужчину. Как они познакомились, интересно? Она не рассказывала.

А ведь интересно ей, конечно, было: какая я, дочь? (*Пауза.*) Она и моего мужа не видела: а ведь новый человек в доме, считай чужой! Хотя с Иваном у них и так бы не сложилось: не нравилось ей, что он был до меня женат и развёлся. Про детей его слышать не хотела, пусть они и жили с его бывшей в другом городе.

Так подумать: ну увидела бы – стало б по-другому? Иван был очень обаятельный, настоящий мужчина. Но... А вот Генку моего, внука, очень любила и всегда заступалась, что бы ни натворил. Не глядя – в прямом смысле. Всё спрашивала, какой он. Волосики, глазки да как я его одеваю.

Цветы различала по запаху: я всё время приносила, люблю. Оказываете, одуванчики тоже пахнут! (*Пауза.*)

Мама говорила: самый большой страху неё был в детстве, когда сказали, что она ослепнет. Боялась засыпать: вот уснёт, проснётся утром – а уже ничего нет. Ничего не видно. Всё пропало. А как всё пропало – это она не рассказывала, нет.

Это ведь очень важно: чего ты больше всего боялся в детстве. Потому что с этим ты потом и живёшь.

Мне лет шесть было, когда меня из садика забрала соседка. Привела, и я сразу увидела много чужого народу, все толпились и делали какие-то дела – молча. Это мамина тётка, она с нами жила, померла.

Напугала меня не смерть – в силу возраста я ещё не понимала, что произошло, – а чужие люди вокруг. Много чужих молчащих и шепчущих людей.

Все вокруг чужие: ходят, стоят возле тётки, смотрят. Всхлипывают, курят. А тётка вот она – здесь! Лежит на кровати. А с ней никто не говорит, будто её нету. Вот же! – но нет.

Никто не обращает на неё внимания: вроде и глядят на неё – но не ради неё. А ради чего тогда?

Как на речку: мы же не на речку смотрим, когда глядим на речку. И не на воду. Просто куда-то... В никуда, которое выглядит как река.

Ведь если подумать – реки нет. Того, что мы называем рекой. Берегами. Это просто мы придумали. Ни одной реки нет.

Тогда, стоя среди чужих людей, я как-то остро поняла, что если ты умер – то тебя нету. И не было никогда. Поэтому умирать нельзя.

Достаёт фляжку, прихлёбывает, прячет фляжку. Спыхватывается, открывает чемодан, ищет там что-то. Достаёт пустой полиэтиленовый пакет, подворачивает края, кладёт перед собой на пол – как шапку для сбора мелочи.

Вот так, что ли... *(Смотрит на пакет, подвигает ногой чуть от себя.)* От так *(закрывает чемодан, складывает руки на коленях)*.

А мама умереть очень хотела. Сейчас, пишут, стало попроще. Лекарства, хостелы эти – ну, где живут, чтобы умирать не больно. Думаю, с этим и сейчас не всё ладно: страна у нас такая. Жить человеком тяжело, но можно. А вот умереть!

Я, как могла, договаривалась: потому и из поликлиники не уходила, хоть зарплата была маленькая. Но там можно было договориться, насчёт лекарств. Все знали. Кто-то помогал. С врачами договаривалась: тут ампула, здесь... Да только что это?

А я ходила, унижалась. Выпрашивала, на коленях стояла. На этих *(смотрит на свои колени, гладит их)*. Тогда тоже – взяла с собой маленького Генку и пошла. Знала: там есть. А у меня рецепт. А там – дефицит. Сейчас уж нет такого слова. И дефицита нет. Денег разве что? А тогда был дефицит всего. А в той аптеке было нужное лекарство. Мне наши в поликлинике шепнули, и я пошла.

Генку взяла, одела так – посимпатичнее, бедненько – но чисто. *(Пауза.)* Я ей рецепт – она мне нет. Я снова – она нет. Заведующая к нам вышла. Я не могу, слёзы: есть, есть у вас, есть! Я ж знаю! И она знает, что я знаю! Они все там меня знали... И про маму. А у них дефицит. Больше нормы не выдавать! Значит, нет.

Какая норма? Какая норма, я говорю?! Чего норма?! Сколько часов норма умирать, как... Я её боялась. Маму. Она страшная делалась тогда. Драла наволочки зубами, как сумасшедшая. Руки грызла. Ходить не могла, плакать не могла. Просила: Лидочка, солнышко... Помогите! Помогите, не могу больше. А я... Так ей помочь не могла. Не смогла бы. Никак не могла. *(Собирается, говорит сухо.)*

Я на колени: знала, что так будет. Генке дома наказала, чтоб жалостнее выглядел и тоже ревел. А он так перепугался – забыл, что я говорила. Дёргает меня: мам, пойдём! Я его на колени: стой, говорю, никуда отсюда не уйдём, пока не продадут! Не уйдём – и всё!

Что вы, женщина, истерику устроили? – она говорит. – Вы не одна. Много кому надо!

А я б не ушла. Генка сильно перепугался: заикается, за рукав тянет – вот упадёт. Пять лет ему было. И вот мне... Так жаль его стало: ему это за что?! И маму жаль. А кто нас жалел-то? Когда? Эти?! *(Кивает наверх.)* Нам от них и не надо. Любви нет – какая жалость? *(Пауза.)*

На следующий день мама умерла. Я была на работе. Иван, конечно, тоже. Генка в садике. Так одна и ушла. Уж как ей было – думать не хочу. Мамочка моя... Мама.

Мамулечка! Это меня Генка так звал. Вцепился – не оторвать. Только: «Мамулечка-красотулечка» – всегда так, когда приластиться хотел. Впился так ручонками: ручки худющие, тоненькие... *(Грубым голосом, почти мужским, резко.)* Синячищи от такенные! Одна не шевелится:

переломана в трёх местах, это мне доктор сказал в госпитале. В заключении, правда, другое написал.

Да только б руки! Я лица не узнала, и даже по голосу... Думала: ошиблась, – сначала. А медсестра в койку тычет: вот, мол. Это? – говорю. – Да нет! Не может быть! А он: мамулечка!

Не отходила от него. Когда в сознание приходил – говорила. А так – пела.

Частушки с детства люблю! Эстраду нашу, советскую. Шинед я потом уже начала петь, много позже.

Её я и на улицах исполняла, и в кафе. Смеялись сначала, потом приходили специально слушать. И на корпоративах: меня приглашали.

Нотин компэрс, конечно. Я её самую первую услышала тогда. Но и... и... и... *(Проговаривает названия русскими буквами транскрипцию названий песен, комично.)* Про зомби у меня тоже очень хорошо получается, но я её редко пою: страшно, и у людей мурашки по коже. Мало кто любит мурашки. Вы любите мурашки? Тогда я иду к вам.

Бегу. Долго я на одном месте не задерживаюсь. Я если долго в одном месте пою – маета подступает, ноет под сердцем. Жуёт дёснами беззубыми. А кто у нас беззубая? Она! *(Кивает за левое плечо, оглядывается.)*

Находит меня – а брать не хочет, дразнит. Гонит с места. И я бегу! Со всеми своими вещичками и мурашками – бегу. Уж я так просила, чтоб она прибрала меня – а та не-ет! Нравится ей так.

Идёт за мной – на песню. Как слепая на колокольчик. А я не петь не могу: нет хуже муки молчать мне, в себе держать!

Вот я и бегу, шляюсь по миру где-нито. Я маленькая, мне легко! Богатым пела и очень богатым. И так, чужим людям. На корпоратах зажигала, да. *(Кривляется, изображает танцевальные движения. Смотрит перед собой, переводит взгляд на пакет.)* Благодарю.

Смешные богатеи! Всё разудало так у них, этак разгульно. А я ж вижу: к ним она тоже идёт. Своими глазами: тот отойдёт скоро, этот уже, считай. Дура, даже сказать пыталась. Одному. Ради жены – та молоденькая такая была, пузатая.

На меня похожа, когда я с Генкой... Я с ним долго ходила, чуть не месяц лишку! Ленивый был, умменький. И верно: лучше, чем в мамке, – где ему ещё? Всё хорошо понимал! *(Пауза.)*

Говорю этому, с женой: идёт за тобой, гляди в оба! Отмахнулся: сама иди отсюда! Тебя не пить звали, а петь! А я и не пью – ну, так... А девчонка послушала, такое у неё было лицо. Схватила его за руку, плачет. Тот завёлся: прогнали меня чуть не пинками, не заплатили. Довела беременную, баба-дура, нажралась – пшла вон!..

Я и пшла. В новостях потом вижу: разбился. Вместе разбились. Трех она разом забрала. Я с тех пор никогда больше не говорила. Никому. Порой думаю: девчонка та, может, из-за меня? Про неё-то я ничего такого не видела – а она мужика, видно, оставлять не захотела. А беззубой – ей что? Коса косит, баба новых носит. *(Пауза.)*

Вот говорят: Шинед приняла ислам! Мол, чего ей там в Исландии со своим исламом? Не сидится? Вся жизнь пела – а тут на!.. А чего ислам? Дед у меня тоже в партию вступил: а кто его спросил – хотел он? Да и Иван. Но он потом вышел, когда меченый всю эту катавасию заварил.

Так что... Что исландцы – хуже татар? Татарам можно, а этим нельзя? Я так считаю: пускай. Пускай! Тяжко девке, не захочешь – под платок

полезешь. Под платком вроде как спокойно, тишина. Так повяжешь – и ровно под куполом, отгородилась, – и сама себе человек, и просто спокойней. Даже будто море в ушах шумит.

Шум. *(Пауза.)* Помню, на вокзале, на Урале было. Дли-и-инный такой поезд, вагоны старые. Народу вокруг! Плач, крики. Думала: солдатики, подошла. А нет – не солдатики! Окна зарешёчены. Псы голоса, и вокруг уже – с автоматами мальчишки. И как начали людей с фургонов выгружать – матушки, сколько их!

Такие, сякие, молодые, старые. Да как же много их, господи! Неужто столько злодеев на Руси? Нарколыги понятно – этих я насмотрелась. На тех же корпоратах. Но здесь – на вокзале – я ни одного оттуда не видела.

И такая жуть! Гляжу – и будто никого. Нет их. Тени! Ни живые, ни мёртвые. Потому и псы лают: чувят, чего нам видеть не дано. Вычеркнули людей, кого осудили – всех вычеркнули. Нет их больше среди нас.

Вагонами тени везут, а ведь им вагон не нужен: махни рукой – полетел! А махнёт рукой человек в погонах – и тени не останется. Такая доля. Как же, думаю, так? Разве так можно?

И слышу – поёт кто-то. Я пою.

Поёт.

Ехал цыган на коне верхом:
видит, девушка идёт с ведром,
Посмотрел в ведро – там нет воды.
Видно, мне не миновать беды!
Ай-на-нэ, на-нэ, на-нэй, на-нэ!
Ай-на-нэ, на-нэ, на-нэй, на-нэ!
Ох, теперь не миновать беды!

Качает головой, шепчет что-то неразборчиво. Глядит на пакет, кивает.

И покуда пела – всё вагончики мимо меня. В куда уж неведомо, в какую чужую даль, в дальнюю тень смертную. На свою войну. И всё те смотрели в окна, всё слушали, головы непокрыты – прощаются. Вертухай только с собакой рыкнул на меня, да старший одёрнул. Ну, суди его бог, рыкающего! Суди его бог. Не родился же он таким, тоже был человек.

И везут их, и тянут. Едут и едут. В окнах глаза: ровно огоньки в сумерки. А больше ничего. Так рыбки светятся ночью под глубокими волнами, в чёрном море. *(Замолкает, прихлёбывает из фляжки, прячет.)*

Я была на море. По путёвке два раза с Генкой ездила в санаторий, в Анапу. А уж без меня Генка ездил в пионерский. Ой ревел! Он же такой, домашний у меня. Был. Слезами заливался, мне вожатая их говорила на родительский день: с утра до вечера! И пока я там была – всё ревел, даже гостинцев ему не надо. Только: забери меня!

Миленький мой, да я б тебя забрала! Отовсюду бы тебя забрала – да не смогла я, прости меня! Как же тебя заберёшь – теперь! *(Пауза.)*

На море шум другой. Люди, волны, кажется – даже солнце шумит, хорошо так! Когда уезжали, Генка учудил. Я с девчонкой там сдружилась, она работала в столовой на раздаче. Смешливая, сбитыш такая, егоза!

Генка ей глянулся: загорелый, он белобрысый был одуванчик. Застенчивый. Зина её звали. Она ему всё добавки норовила да вкуسنень-

кого отложит: булку или там персик какой. Компот. А он сторонился её: он с незнакомыми людьми вообще не очень любил, ему больше книжки. Не разговаривал.

И вот на прощанье Зина расстаралась: сделала для него пирожное из крема. Красивое! Грибочки-листочки. Ягодки. Шедевр! А он съел молча, как всегда. Глянул на неё и звонко так – на всю столовую – говорит: Зина – корзина! Зина – корзина!

Шесть лет ему было. Ни слова не сказал ей за две недели – и тут на тебе! Зина корзина! Я смотрю: у неё слёзы на глаза, такие крупные. Я аж загляделась: красиво! Ну, жаль её, конечно.

Что ж ты, говорю, засранок такой, кто тебя так спасибо учил говорить? Всыпала ему. Так мне неловко было, так перед Зиной стыдно!

Потом он мне сказал, это уже когда дома были, когда вернулись. Это он стих для неё сочинил. Сам! Зина – корзина. Порадовать её хотел. Он же не знал, что это уже до него тыщу раз сочинили по другому поводу. Смех и грех! *(Пауза.)*

Море, я говорю, шумело. На море я с Иваном познакомилась. Вот кино! Он после развода приехал туда: нервы поправлять. А я с подружкой. Ну да, нервы. Видела я этих поправляльщиц! Он мужчина видный был такой – тридцать лет, брюнет, плечи!

Он же из деревни, пока в институт не поехал поступать, – всё там, на чернозёме своём. На молоке. И выхаживает такой по набережной. И я – с Урала: бледная, тонконогая, глазищи – во! Не уйдёшь! Он инженер, авиационный, почти космонавт! Я – студентка медучилища, детство в бараке, мать слепая, отца не помню! Дерзкая! Не уйдёшь!

Я с детства белобрысая была, как альбинос. Только у них глаза красные, а у меня серые. И брови: брови чёрные у меня были всегда. Сколько в школе меня ругали! Матери жаловались: опять она у вас брови красит! Мать не видит, но всыпет мне, понятное дело. Я реву: мама, честное слово, не красила я! Они у меня всегда такие! *(Смеётся.)*

В общем, познакомились с ним. Всё время гуляли: только на меня смотрел! На катере катались, экскурсии. Всё про себя рассказал: как жил, как учился-женился. Двое детей у него, мальчик и девочка, тогда уже были.

Жена гуляла, он всё сам с детьми водился. Ну, водись не водись, а если мать красиво жить хочет да по мужикам... Короче говоря, развёлся он с ней. Стихи мне тогда писал, один я помню:

Изгибается дугой,
воду пробует ногой.
Капли капают с ноги,
по воде идут круги.
Мужики на берегу
пялят зенки на дугу.

Пауза. Притопывает, взмахивает рукой, как после частушек.

Эх-ма! *(Качает головой, заглядывает в пакет, пересчитывает мелочь.)*

А вот Генке он не писал. Как в армию забрали – ни разу. Я от него приветы передавала, а он – ни в какую. Не хочу, говорит. Не буду, понимаешь. Чего рассусоливать? Только нервы мотать. Сама пиши!

Переживал страшно, ночами не спал. Засядет в туалете – и курит. И курит, курит. Я встану ночью, стучу: открой! Он откроет: господи! Дым-то аж падает на меня, стеной!

И этот сидит, как чёрт на насесте: чего тебе? А в дыму только глаза видать, больше ничего. Как ты, говорю, мимо рта-то сигаретой не промахнёшься? Чего ты устроил? Нормально, не промахиваюсь, говорит. За столько лет ни разу не промахнулся!

Он с первого класса курил, деревенский. Генка родился – хотел бросить, у него ж алименты были на двоих, жили бедно. Не, не как все сейчас: бедно! А вот прям: бедно. Я на двух работах: медсестрой у нас в поликлинике, там же полы мыла, дежурства брала сколько могла. *(Пауза.)*

Генка в третьем классе учился, помню, день рожденья у него. Денег нет совсем – ну совсем. Да как же без подарка? Купила бутылку лимонада. Коржик молочный. И мяч для хоккея с мячом. Он ни в какую секцию не ходил, Генка, он всё такой был – то начнёт, то бросит. А почему для хоккея с мячом? Твёрдый такой, оранжевый.

Лимонад я купила, коржик. Но надо же что-то подарить? Не должен ребёнок в день рождения без подарка, это как... Замуж выходить без свадьбы. Как... В старости без детей. Вот так.

А в кошельке пусто. Иду мимо «Спорттоваров», зашла. Шашки-шахматы, клюшки-лыжи – да что говорить. Всё денег стоит. Я и не вижу ничего: слёзы на глазах, что ж я, думаю, за мать такая! Почему так?!

А продавец – дядька в возрасте – смотрит на меня, говорит: Чего тебе? Что у вас, говорю, самое дешёвое есть? Чтоб за три копейки – на подарок? Сама реву! Будто на похороны покупаю. Дядька не сразу понял. Покопался что-то, нашёл мне этот мяч: как апельсинчик маленький, яркий такой. Даже красивый! Где у вас, говорю, отбивать? Где касса?

Посмотрел так на меня, бровями помахал. Иди, отбивальщица, говорит. Касса тебе! С днём рожденья! *(Пауза.)* Но я упёрлась. С детства такая: чужого не надо!

Мама так воспитала. *(Поправляет лежащий на полу пакет, провожает кого-то взглядом.)* Мы в деревне жили. А я всё бледная была – и мел, помню, жрала. Прям жрала! В школе дразнили все. А я дома наколупаю тайком от матери да в рот. Ей чего – не видит. А мне – надо! Организм просил, не хватало чего-то, значит. А чего? *(Задумывается, пожимает плечами.)* Мела и не хватало! Где у человека мел в организме? В волосах, наверно. Я белобрысая была – видать, для цвету надобился. В старости, выходит, переизбыток его. Надо, значит, сейчас уголь есть – от седины помогает. Должно помочь...

И вот я обколупала в гостях у соседей печку – как моль объела! Хозяйка увидала – и к матери. Твоя гусеница, говорит, бледная, печку нам обожрала. Только белили – хоть по новой опять! Мать мне: иди сюда! Я: мама, я не виновата! Оно само! А мама: иди, говорит, к печке – хоть все кирпичи обглодай! Только с нашей! Чужую – не трожь! Строгая была и нас так же учила. Кирпичи обглодай! Она ж не видит, а там и так всё... *(Смеётся, молчит.)*

Не надо, говорю, я сама куплю! А дядька смешной: я, говорит, ещё никогда девушке хоккейный мяч не дарил! Запомню этот день навсегда! Смеялся. Симпатичный, наверно, был – не помню. Копейки какие были высыпала, мяч схватила – и домой.

Оставила всё на столе: бутылку, коржик, мячик этот в бумагу цветную школьную завернула – вроде как сюрприз. Записку написала, что на дежурстве, и ушла. И с улицы гляжу, издалека.

Смотрела, как пришёл Геночка, как свет в кухне зажётся. Какое у него лицо? Как он там? Думаю, плачет наверное. Один в день рожденья, ни гостей, ни подарков. Господи, да пропади всё пропадом! Да лучше б я умерла! Зачем я замуж вышла за женатика бывшего: всё его детям отсылали, алименты проклятые, самим жрать нечего – а туда же! *(Прихлёбывает из фляжки, прячет.)*

А Геночка мне потом спасибо сказал. За что, сынок? – Такой у меня хороший был день рожденья! – А что тебе понравилось? – А то, говорит: у меня всё было – и всё моё. Лимонад вкусный, коржик, и дома тихо так. Я книжку читаю – и вас с папой жду, когда вы придёте. Тихо так – и всё моё. Всё было – и всё моё. *(Пауза.)*

Я... Грела ему уши на присяге, ладонями. Их построили на плацу. Лютый мороз, на всех шинели, ушанки. На шапке, на плечах снег уже сугробиками. Я смотрю: уши у него синеть начинают, колотит всего.

Я сзади поближе протолкалась, тихонечко так подошла и ладонями – раз! – уши накрыла. А он так замёрз, что даже не сразу почувствовал. Потом понял, а головой вертеть нельзя! Я руки отняла и шепчу ему: Геночка, это я, я! Всё хорошо, стой. И снова – ладонями. И он стоял. Только иногда так шеей двигал, будто потереться пытался. Как кот. Котёнок мой, такой стриженный, худой.

Через полгода его и убили. Как котёнка. *(Долгая пауза.)*

После гречки... *(Осекается, откашливается с усилием.)* После гречки рот всегда полощи – это он мне перед смертью сказал. В госпитале. Чего, говорю? Что ты, сыночка?

А он мне: я, говорит, вижу, ты хочешь, чтоб я что-то сказал. Не знаю, мол, что сказать. Вот сказал, что в голову пришло. И больше он ничего не говорил. Не приходил в себя.

Я ведь пошла тогда гречку есть. Думаю, может, он чего имел в виду. Загадка какая или намёк. Сижу в столовой, на первом этаже, ем её и реву. Реву и ем. Так я её не очень люблю, а тут прям три порции – одна за другой. Вся урелась!

Солдатик на раздаче, стриженный такой головастик, за третью уж денег с меня не взял. Может, чего другое возьмёте? Я головой мотаю и в гречку пальцем тычу: давай!

Думаю, сейчас доем – и рот полоскать пойду. Вдруг лучше станет? Тут врач заходит, видит меня... Таковую всю. Вам кто уже сказал? – недовольно так. Я ему: чего? А сама уж поняла всё. Но не поняла, нет. Он так смотрит и говорит: идите попрощайтесь, потом не пустим, не положено.

Тут меня и не стало... Долго не было, говорят, два дня. Что я делала, где была? Не помню, не скажу. *(Пауза.)*

Гречку он не любил никогда. У него манная каша была любимая. Полкастриули мог умять! Я её сама не ем. И как я готовила, ему не нравилось. Вот когда Иван – да. Я всё гадала: что такое?

Сахара добавлю и вареньем чего-нибудь нарисую, рожицу или что. И двумя вареньями! Съест их, а кашу так: сидит, ковыряет. Ты почему кашу не ешь? Ты же её любишь? – Я у папы люблю. Свари как папа! Я к Ивану: что такое? Он хохочет, довольный, дразнится. *(Улыбается.)* Такой он. Не скажу, говорит! Потом!

Уж сильно после рассказал: варил кашу да отвлёкся – курить пошёл. Вернулся – не заметил, как подгорела. А Генка на эти поджарки и запал! Всё выскреб с самого доньшка, начисто!

Иван ему другой раз варит: тот нос воротит! Хочу как тогда! А как тогда? А там такие коричневые штучки вкусные были! Что ты будешь

делать! Ну Иван стал ему специально такую делать, с поджарками. И ведь, говорит, нарочно захочешь – не получится, а раньше, когда не надо, так хорошо подгорала!

Я думаю, в жизни часто так. Удивительно: как так получается, что не получается, когда очень нужно, чтобы получилось? А когда оно уже вроде и ни к чему... *(Хмыкает.)*

Вот я? С малолетства хотела двух вещей: быть артисткой и путешествовать. Когда мы в город переехали, мать меня в хоровое училище пристроила, по благу – через общество слепых. Два года проходила потом маме тяжело стало самой по дому, пришлось бросить.

Да не ахти получалось. Так я вроде дерзкая была, а в пенье – как замыкало меня. Дома для себя – да, и маме нравилось. А на людях – покраснею, и как замок у меня на губах, будто дверь в голове закрывается, и – не пройти!

Разные страны хотелось повидать. Мечтала: стану артисткой – ну или, например, певицей – все страны объезжу! Орден получу от правительства. Буду трудящимся и детям всего мира помогать. Ездить в братские страны. В другие тоже. Вдохновлять их на борьбу! И про любовь буду петь, и танцевать!

В кино я не хотела – я хотела на сцену. Видеть всех, чтоб они меня видели – и я пою, танцую! Про любовь! Про мир во всём мире! Про детей и про счастье! И про детское счастье! Про счастливое будущее – которое вот-вот наступит, нужно только ещё чуть-чуть больше постараться и потерпеть! Всё, всё получится... *(Осекается.)*

Вызовут меня в Кремлёвский Дворец съездов, будут аплодировать. Орден дадут, конфет, почётную грамоту. С мамой в санаторий съездим. Жалела, что не увидит она меня.

Я в медучилище пошла, чтоб за ней ухаживать. И надеялась: выучусь дальше, стану врачом – а там, глядишь, что-то такое изобретут, чтоб она видеть начала.

Генка тоже. Маленький был, мы с Иваном кино смотрели, и он на полу играл. А там умер кто-то – в кино. Слышим: Генка ревёт. Тихонько так, но горько! Мы к нему: что? А он: папа, я вырасту, стану врачом – изобрету лекарство, и ты никогда не умрёшь! Не хочу, чтоб ты умирал!

Ну, в общем, всё так и вышло.

Я пою. Страну объездила. Аплодируют. Чаще, конечно, наливают – да я не пью. Не, это *(показывает на кофту, где спрятана фляжка)* вы не смотрите. Не танцую – так это ноги болят. А стеснения нет – нет у меня замков. Лопнули железные обручи. И как отец умер, Генка тоже не увидел. А орден... С орденом ничего. Вместо ордена – пособие. Так они это называют. *(Пауза.)*

Они вообще всё по-своему называют. Для нас у них *(тычет пальцем вверх)* отдельный язык: чтоб мы понимали, что нечего с вопросами лезть. Полезешь – так ответят, что понятней не станет. Одно ясно: дурак ты, дурак и есть. Другой раз не суйся, делай что велено, правда вся в бумагах написана. Сколько бумаг – столько правды. *(Пауза.)*

Ведь вы же люди! Лю-ди! Или не люди? А кто? *(Пауза.)* Зомби. Кто ещё к детям может так? К матерям?! Мыслей своих нет, совести, памяти – ничего. Всё по указке. Сами, что ль, они детей на смерть посылают? Им это надо? Не-ет! Это внутри у них зудит: надо! Надо, давай! Давай, пока вперёд нас те не успели! Ничего не жалко, никого: только марш, только – давай! *(Пауза.)*

Как коттики. У нас был Кузька: пальцем поскребёшь – он уши навострит, попой так водит – толстый был. Жирный. Резвый, но дурной – точно генерал. И – бежи-ит на палец! Прискачет, обнюхает... А дальше чего? Нужен он ему, палец-то? Кузьке?

Тут другим скребёшь: с другого боку, чтоб не видел. Этот опять скачет, в другое место. Весь вечер так бегать мог. А тоже, поди, думал, что главный. Может, думал: медаль дадут. Усищи такие!..

Сейчас у генералов усов нет. Не положено. Зачем зомби усы? Надо будет, наклеят. Подкрасят и рот зашьют. Чтоб черви не лезли оттуда надо плотно зашить. Чтоб мысли, мысли никакие не отложились. Черви – бурлят у них там внутри! Мысли перемешивают, чтоб ни одна надолго не задержалась, чтоб не думать их. И так они – шевелятся, вперемешку. Черви-мысли, мысли-черви... Как же он сам? Он не сам. Черви за него! *(Пауза.)*

Кузька помер – прикопала его в огороде. У рябинки, где заборчик. Толстый был, а помер – тряпочка мохнатая. Как похудел сразу. Стала класть, а он твёрдый, не согнуть! Тьфу, пропасть, опять копать! Не влезают. Чуть спину надорвала, осень, декабрь уже вот, земля промёрзла.

Генку не помню как... Но я была там, мне говорили. Видать, не я это была. В койке лежал худой, бледненький – где синяков нет. Ни разу генерала с синяком не видела. Кто ему поставит? Маршал? Этот может. А маршалу?.. А тому кто? *(Пауза.)*

Я и мёртвого генерала не видела. Не бывает их! Генералы, они ж не умирают! А интересно бы поглядеть.

Поёт-голосит.

Зо-ом-би! Зо-ом-би!

Зо-ом-би! Би! Би!

Все зомби! *(Прислушивается, оборачивается, машет рукой.)* Да знаю, знаю! Да всё! *(Снова садится прямо. Заглядывает в пакет.)*

Вот спасибо. Это-то не то что... Это из-за бразильянцев всё. Ну они уже улетели: ждали тут, весёлые! Топчутся чего-то, смеются. Я помню: всей деревней мы эту «Рабыню Изауру» смотрели, я страсть как там песню любила!

Напевает.

Lere-Lere, Lere-Lere-Lere,

Lere-Lere, Lere-Lere-Lere...

Жизнь черного человека трудна.

Да, это реально очень тяжелая жизнь!

(Прихлопывает в ладоши.)

Ungazun garunge ungazun garunge,

ungazun garunge ungazun garunge.

Zambebe garunge ungazun garunge,

zambebe garunge ungazun garunge...

Эти-то, услышали, я пою – загорготали чего-то, хохочут, в ладоши бьют!

Раскачивается.

Лучше помереть в ночи,
Нарваться на засаду убийц
И быть забытым до смерти,
Чем жить без тебя!

Оглядывается по сторонам, чуть сбавляет голос.

Lere-Lere, Lere-Lere-Lere,
Lere-Lere, Lere-Lere-Lere...
Жизнь черного человека трудна.
Да, это реально очень тяжелая жизнь!

Кивает.

Негритосики-то эти танцуют ещё, да красиво так! Задорно! Народ в ладоши хлопает, весело!

Ungazun garunge ungazun garunge,
ungazun garunge ungazun garunge.
Zambele garunge ungazun garunge,
zambele garunge ungazun garunge

Тут-то менты меня и приняли: «за нарушение общественного порядка»... Конечно, непорядок – когда у них дети некормлены. А мне кого кормить? Получается, что их.

Я ухожу, моя любовь,
Я умру прямо здесь
И больше не увижу солнца,
Я никогда не увижу тебя.
Моя любовь, я уезжаю далеко
и на той земле умру,
и никогда больше тебя не увижу.

Закрывает глаза, сидит так.

Все мы чёрные люди. Какие ещё? Я, и ты... Жизнь чёрного человека очень трудна. Да. Такая жизнь. *(Открывает глаза, глядит на пакет.)* Это на автобус мне – там. Вдруг там тоже петть нельзя? Так я здесь – тихонько... *(Передразнивает.)* «Непорядок!» Петть им – непорядок. Спорить – непорядок. Послать... По улице шла: люди чего-то недовольные навстречу, но праздничные такие, даже и молодёжь – смотрю, всех по фургонам живенько распахали. Вот тебе и вся garunge! *(Качает головой.)* Кто ж запретит человеку недовольным быть, если он недоволен? Я? Нет. Ты, что ли? Или он? Нет, другой человек такое сказать не может. Только опять генерал... Кто вообще знает: как из человека получается генерал?

Вот ему звонят, полковнику: алё-алё! Поздравляем, тырщ полковник, вы теперь генерал! Тут у него душенька-то и воспарила! Отлетела. Тесно ей с генеральской звездой! Звезда так растопы-ы-ырится, как осьминог, – и ну её выталкивать! А душе не больно и надо уже. С генералом ей не жизнь будет: мука одна! *(Пауза.)*

Маршал был, помню, такой: Гречка. Тот вроде на «о». Гречко! Дал бог фамилию. Хотя когда ты маршал... У Генки сержант в роте был:

тоже Гречко. Уж не родственник? (*Задумывается.*) Да нет! (*Сидит, молчит.*)

Когда про Генку известие пришло, Иван очень быстро ушёл. Не умер – ушёл за Генкой. Так ему лучше, наверное, было. Я даже не почувствовала ничего: будто они оба вышли, вот-вот вернуться.

Не вернулись. А я к ним ходила. Счастье было на могилку зайти, поговорить с ними. Иван больше молчал, конечно. Слова от него не добьёшься. Я всё больше с Генкой. У-ух, с ним бывало вволю! Про него, про себя. Про политику, про пенсию. Всё слушал, улыбался.

А Иван так – бубнил чего-то. Ворчал. Да главное: что бы понимал! Вот чего спорить?! Ну, они там с Генкой без меня, я знаю, по-мужски. Секреты свои от меня держали. У Генки я вызнать хотела: чего с ним стряслось? Ни в какую! Злился на меня, если совсем приставала.

А отцу сказал – это я знаю. Так ведь не выпросишь у отца: могилки рядом! Что один слышит, то и другой! Вот... Мужики! (*Пауза.*) Однако, как отцу рассказал, полегче стало: я прям чувствовала, как ему полегчало.

Потом смыло их. Две недели вода стояла по весне, разлилась: море! Деревьев не видать. Я по бережку и так и сяк: нет, не слышат! Измаялась. Наводнение такое, что из области приезжали. Вспомнили! Где то Счастье?

Деревня наша так называлась: Счастье. Все шутили: вон счастье-то у нас... Не за горами! Там – в низинке! Где у нас все счастливые живут. Так и я жила – в счастье. (*Пауза.*)

Две недели счастье моё было под водой. А потом – ушло с половодьем. С могилками, со всем кладбищем. Мусор один остался. Ветки, хлам. И ничего – ровное место!

Все реки, говорят, рано или поздно впадают в море. Я хочу думать, что они сейчас там. Оба. Там, где мы познакомились с Иваном. Они вместе никогда не были на море – раньше. А я представляю: гуляют они там, по песчаному пляжу.

Ранним утром, когда ещё солнце так – просвечивает через до-о-олгую даль и глубину облаков. Дышат водорослями, это полезно.

Разговаривают. Держатся за руки. Иван серьёзный. Генка смеётся, белобрысые волосёнки так и вспыхивают на ветру. А там уже люди появляются, первые купальщики. Открываются ларьки. Можно и по пиву! А что? На море – считай, в отпуске! И что, что с утра?

Пауза. Кивает, глядя на пакет.

Я только Генку никак представить не могу: сколько ему лет? Иногда вроде взрослым его вижу – как почти Ивана. Но чаще вот таким вот, пяти-, может, шестилетним. Тут вот у меня не сходится. Тогда газировки! Газировку он любит!

Но вот каким его в армию забрали – нет, таким я его не вижу. Не пускает голова. Не место ему такому там – на море. Только так (*показывает рукой на уровне головы 5-6 летнего мальчика*). Или так (*показывает рукой на уровне головы взрослого мужчины*)! Будто он вырос, как Иван. Так – или так. И никак иначе.

Но это сейчас. А тогда я решила умереть. Как говорится: вы не ждали нас – а мы припёрлись! Не хочет меня беззубая – я сама приду. Незванный гость хуже татарина – а мне что? Какая есть!

Долго не думала: взяла скотч, пошла на реку. Там обрыв небольшой, но крутой, мне хватит. Ноги-руки перемотаю, чтоб не развязаться. И – как чемодан! Без ручки.

Шла – на крыльях летела. Так мне было хорошо! Казалось – ветром сейчас сдует, и улечу, так хорошо! Легко! Светло! Чисто! Рада была, что – так. Что ушло всё с водой, всё смыло: всё, и я туда! *(Пауза.)*

По берегу проходила мимо компании – молодёжь гуляла чего-то, веселились. Девчата с ними. Меня напомнили, когда я в меде училась: особо одна – тощая, глазастая. Даже юбка как у меня была: чтоб задница не мёрзла, в ней только сидя можно было. На коленках у кого-нибудь. Хорошо!

Постояла рядом, послушала. Последние люди на земле – думаю. Последние, кого я вижу. Глаза закрыла: последние, кого не вижу. Смешно!

И тут слышу: поёт. ОНА! Я обмерла. Эти заметили меня, подошли.

А чего вы со скотчем, один спрашивает, – ночью? – Это я так, говорю. Чтоб спрашивали. Без скотча мимо иду – никто не заговаривает. А на скотч все липнут как мухи! Посмеялись.

Кто у вас, говорю, поёт? Что за деваха? Тоже смеются: деваха она была, когда у тебя ещё внуков не было! Да у меня и нету, говорю.

Написали мне на бумажке – как звать. Шинед. Так я её узнала. Винца предложили, да я не, что-то не захотелось. Так меня эта песня тронула. Иду – и думаю: тяжело ведь ей, а как поёт! Тоненько так, жалобно! Дочку я всегда хотела, да не вышло, а тут...

Стою над обрывом – а Шинед внутри поёт, и чувствую: не могу! Нельзя, пока эта песня поётся! С того вечера она у меня внутри и звучит. Я и сама её выучила, сначала про себя. Потом и петь начала. Другие песни – для всех, а эта – моя.

Пошла на другой день на почту: компьютер там у нас. Интернет. Уж я не буду говорить, чего стоило, – с грехом да с матами выучила я весь этот интернет! Нашла там её.

Имечко, конечно, не приведи бог дали девке родители. Смеяться грех. Шинед! Шина – ну что это? Куда с таким замуж? Дети к ней как, а соседи? Тётя Шина?.. Еврейское имя, видно: у них всё такие. *(Качает головой.)*

Почитала я про эту Исландию, где она живёт: что сказать? Тоска! Человеку там жить никак – волком взвоешь! Так что всё понятно. Нет, климат, конечно, морской, умеренно-прохладный, но – с сильными ветрами, влажный и переменчивый.

У них и пословица есть: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже». Ну, это нам понятно. В нашем-то Счастье лучше погоды не бывало.

Народу в Исландии почти нет, всей природы – камни, льды. Живут практически одной рыбой. Единственное дикое млекопитающее – песец. А самая распространённая птица – тупик! *(Смеётся.)*

Ну, и это как у нас. У нас тоже куда ни кинь: один песец да тупик. И Счастье наше – у болота в низинке, промеж холмов.

Оттого и песни что наши, что их, – печальные.

Но как увидела я её фотографии... Молоденькая тростиночка была, загляденье! Глазищи – во! Но лысая. Лысая певица – это как? Так-то не должно быть. Ну да поживи на одной рыбе! Может, болела?

А потом – заматерела! В наколках, раздалась! Хлебнула по полной. Остров маленький, а большая беда и там поместится. Где ты ни живи, на каких островах – свои вагоны, псы и начальники найдутся, жизнь такая. Везде свой тупик найдётся, своё счастье.

Встаёт, прохаживается, хромая. достаёт фляжку, смотрит на свет: фляжка пуста. Качает головой, достаёт из другого кармана полную, делает глоток, прчет фляжку.

Решила я ехать к Шине. Кто-то должен помочь? И я кому-то – должна. Страдает она, а рядом никого. Я видела её, в интернете. Плачет она. Просит, ждёт: хоть бы пришёл кто-то, кто любит. Пусть придёт и заберёт – только это.

Бьётся, как слепая, как муха об лёд. Как мама моя: в крошечной тьме. А просто надо, чтобы кто-то обнял и за руку держал. Как мама меня просила: потом стеснялась просить, знала, что я реву, – а я сама приходила и брала за руку её. Она прогоняла, когда начинала стонать, кричать. Я не уходила. Она прогоняла. А я... (Пауза.)

И эта, Шина, чудо лысое, такая же: всех послала, кто рядом с ней. А потому что больно. Все так: когда любим, гоним тех, кому можем сделать больно, когда у нас самих – боль. Это мужество надо.

Прислушивается к чему-то.

Вон, объявляют... Поеду, помогу ей! Нельзя чтобы человек было один. Вместе spoём. Я могу. Песня та хорошая: нотин компэрс. Про маму – я в интернете перевела. Вообще язык их учила. Смешно! Исландский этот – на татарский похож! Сосед у нас в Счастье татарин был – хороший мужик, резкий только. Но хороший. Помер...

Пауза. смотрит в зал. садится. Поднимает с пола пакет, держит в руках.

Я думаю: вдруг я умру – а там ничего нет? Это значит, всех нас троих сразу не станет, совсем. Генки. Ивана. Ни меня не будет, ни их. Мы все насовсем умрём, будто не было нас никогда. Понимаете? Не было – никогда. А я хочу, чтобы мы были! Пока я живу – мы есть, а когда я умру – это ж я соглашусь, чтобы они умерли.

Выходит, я их своей смертью убью. Да как же я могу? Не дождётесь! Гуляйте, ребята, спокойно. Воздухом дышите. Там колесо обозрения, аттракционы.

А я здесь за вас – повоюю. Попрою! Обойдётся: я баба упрямая. Девке надо помочь: куда она?

Приеду, spoём вместе: где бабы поют, там смерти нет. А придёт беззубая – заслушается. Косу свою перекинёт на плечо да вдруг и подпоёт: тоненько так. По-бабьи. Она ведь тоже: одна. Тоже, как мы: ходит по миру... Шляется.

Женщина молчит, кивает головой, встаёт. Берёт чемодан, поднимает с пола пакет, заглядывает в него, шепчет: пересчитывает. Перекладывает мелочь в карман. Уходит.